

К 205-летию И. С. Тургенева

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

ОБРАЗ СТРАДАНИЙ РУССКОГО НАРОДА

Цикл рассказов «*Записки охотника*» (1852) Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) — одна из тех книг отечественной классики, где наиболее сильно выражены духовные стороны личности простого русского человека, «русский дух», где в прямом смысле «Русью пахнет»: «Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и „кашки“; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце» («*Лес и степь*»)¹.

В рассказе «*Певцы*» Тургенев пишет о своем герое: «Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрылась перед вами, уходя в бесконечную даль» (3, 222). Писатель явил себя таким же певцом благословенной русской земли, с тем же одухотворенно-проникновенным голосом: «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны» (3, 222). Этими тургеневскими словами можно было бы выразить пафос цикла рассказов в целом.

Не случайно И. А. Гончаров (1812–1891), прочитав «*Записки охотника*» во время своего кругосветного путешествия, у берегов Китая — за тысячи верст от России — ощутил ее дух, ее живое присутствие: «...заходили передо мной эти русские люди, заперестрели березовые рощи, нивы, поля и <...> прощай, Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, море, где я — все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг — так и ходят около». Гончаров также отметил, что Тургенев не только с детства «пропитался любовью к родной почве своих полей, лесов», но и «сохранил в душе образ страданий населяющего их люда»².

В год кончины Тургенева его друг и земляк, поэт Я. П. Полонский (1819–1898) говорил: «И один рассказ его „Живые моши“, если б он даже ничего иного не написал, подсказывает мне, что так понимать русскую честную верующую душу и так все это выразить мог только великий писатель».

Алла Анатольевна Новикова-Строганова — доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), историк литературы.

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — М.: Наука, 1978–1982. — Сочинения: В 12 т. — Т. 3. — С. 355. В дальнейшем сочинения И. С. Тургенева цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы.

² Гончаров И. А. Собр. соч. — М., 1955. — Т. VIII. — С. 262; 108–109.

Ф. И. Тютчев (1803–1873) пронизательно уловил в «Записках охотника» тургеневское стремление к синтезу реального и сакрального: «...поразительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного»³.

Известно, какое глубокое впечатление произвели «Записки охотника» на земляка Тургенева — Н. С. Лескова (1831–1895), заслуженно признанного «величайшим христианином среди русских писателей»⁴. Он испытал настоящее нравственно-психологическое потрясение, впервые прочитав цикл тургеневских рассказов: «...весь задрожал от правды представлений и сразу понял: что называется искусством»⁵.

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) справедливо считал, что «Записки охотника» значительно повысили «нравственный и умственный уровень русской интеллигенции»⁶.

Рассказы тургеневского цикла, по признанию Л. Н. Толстого (1828–1910), открыли ему еще в юности, что русского мужика «можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно описывать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом»⁷.

В. Г. Короленко (1853–1921) вспоминал, как, познакомившись в свои гимназические годы с «Записками охотника», впервые испытал чувство внутреннего обновления, ощутил духовное просветление: «Меня точно осияло. Вот они, те „простые“ слова, которые дают настоящую, неприкрашенную „правду“ и все-таки сразу поднимают над серенькой жизнью, открывая ее шири и дали, <...> озаренные особенным светом»⁸.

М. Горький (1868–1936) называл «Записки охотника» в числе книг, которые «вымыли» ему душу, «очистив ее от шелухи»⁹.

Сходное впечатление испытывает и современный вдумчивый читатель, хотя со дня публикации первого рассказа цикла «Хорь и Калиныч» (1847) минуло более 175 лет и 170 лет — со времени первого отдельного издания «Записок охотника» (1852). «Склад жизни изменился, а звук души остается»¹⁰, — говорил Б. К. Зайцев (1881–1972) о восприятии тургеневского творчества в статье «Непреходящее» (1961).

Доминантой приведенного выше отзыва Лескова о «Записках охотника» является слово «правда» во всей его полисемантической объемности: правдивость реалистического изображения; реализм в «высшем смысле», одухотворенный романтической традицией; и главное — правда как вечное стремление к высшей Истине, к идеалу Христа, возвестившего: «Аз есмь Путь, и Истина, и Жизнь» (Ин. 14:6).

Герои «Записок охотника» — русские православные люди. Как известно, понятие «русский» исторически уже подразумевало: «православный христианин». Свидетельство полноценного, духовно не поврежденного чувства национального достоинства — народное самоназвание: «крестьяне», в простонародной артикуляции — «хрестьяне», то есть «христиане» — верующие во Христа.

В бытии и быте народа ощутимо живое Божье всеприсутствие. Христос — в жизни, в сердце, на устах русского человека. «Господи, владыко живота моего!» (3, 37); «ах, Господи, Твоя воля!» (3, 16); «прости, Господи, мое прегрешенье!» (3, 137), — то и дело приговаривают герои тургеневских рассказов: старик Туман («Малиновая вода»), Калиныч («Хорь и Калиныч»), мужик Анпадист («Бурмистр»), многие другие. Наслушавшись в ночном зловещих поверий о нечистой и неведомой силе, маленькие герои

³ Тютчев Ф. И. Весенняя гроза: Стихотворения. Письма. — Тула, 1984. — С. 186.

⁴ J. von Guenter. Leskov. — Russlands Christlichster Dichter. — Jahrgang 1. — 1926. — S. 87.

⁵ Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. — М.: ГИХЛ, 1956–1958. — Т. 11. — С. 12.

⁶ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. — М.: Худож. лит., 1970. — Т. 9. — С. 459.

⁷ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. — Т. 66. — С. 409.

⁸ Короленко В. Г. Собр. соч. — М., 1954. — Т. V. — С. 265–266.

⁹ Горький М. Полн. собр. соч. — М.: Наука, 1972. — Т. 15. — С. 373.

¹⁰ Зайцев Б. К. Собр. соч.: В XI т. — М.: Русская книга, 1999–2001. — Т. IX. — С. 375.

рассказа «Бежин луг» ограждают себя крестом, именем Божиим. Все герои «Записок охотника» молятся, осеняют себя крестным знаменем, божатся, призывают «Господа Бога в свидетели» (3, 182), просят «ради Самого Господа Бога нашего» (3, 42), уповают на «силу крестную» (3, 95); на то, что «Бог милостив» (3, 78), и т. д.

Все это не формализация застывших речевых оборотов, а духовная составляющая русского языка, словесное выражение православного духа русского народа, христианской языковой среды его обитания; показатель глубинной связи слова с самой его сущностью в таинстве языка: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).

В каждом жилище русского человека: будь то помещичий дом или крестьянская изба — теплятся лампадки перед святыми образами: «перед тяжелым образом в серебряном окладе» в богатой избе Хоря («Хорь и Калиныч» — 3, 9); в «чистенькой» комнате провинциальной барышни («Уездный лекарь» — 3, 42). Чистое пламя лампадок, свечей символизирует горение духовное, благоговение, внутренний трепет перед Богом в надежде покаяния и обновления души. Православный человек, входя под любой кров, прежде всего крестится на образа, показывая тем самым, что истинный хозяин дома — Господь Бог. Так, в больнице у фельдшера «мужик вошел в фельдшерovu комнату, поискал глазами образа и перекрестился» («Смерть» — 3, 202).

Тургенев упоминает также народный обычай с образами обходить пострадавшие от пожара лесные угодья — с тем, чтобы с Божьей помощью возродить оскудевшую «производительную силу» земли на таких «заказанных» (с образами обойденных) пустырях» («Смерть» — 3, 198). «А с Богом-то завсегда лучше» (3, 352) — так выражает убеждение всякого православного человека Филофей — герой рассказа «Стучит!».

На Руси в каждом селе — в таком, например, как Шумихино, «с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана» («Малиновая вода» — 3, 31) — была церковь. Божьи церкви становились духовно-организующими центрами благословенных просторов родной земли. Храмы являлись и целью паломничества, и пространственными ориентирами, и условленным местом встречи для странников, путешествующих. Так, рассказчик-охотник сказал своим спутникам, что будет «ждать их у церкви» («Льгов» — 3, 77), и «добрался наконец до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами» («Контора» — 3, 139).

Все крестьяне в «Записках охотника» — люди Божьи. Каждый наделен своими талантами и дарованиями. Особо одаренные натуры: Яков Турок («Певцы»), Павлуша («Бежин луг»), Матрена («Петр Петрович Каратаев»), Акулина («Свидание»), Лукерья («Живые мощи»); главные герои одноименных рассказов Хорь и Калиныч, Бирюк, Касьян с Красивой Мечи и другие — выписаны ярко, рельефно, выпукло.

Но есть и такие, которые кажутся совсем невзрачными, как бы невидимыми, живут, что называется, «святым Духом». Но и эти с виду неприметные люди пребывают в лоне православных традиций. Так, церковный сторож Герасим проживал в каморочке «Христа ради» (3, 31), как и другой герой рассказа «Малиновая вода» — Степушка, который «не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании», и все же в «Светлое Воскресенье с ним христосовались» (3, 32).

Вглядываясь в русскую литературу, известный духовный писатель XX века митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961) отмечал, как «мало в ней положительных типов! Все больше грешные, страстные. Хорошие люди почти исключение». Среди этих «исключений» названы герои «Записок охотника», где «изображены преимущественно люди из „простого народа“, немало хороших людей. Из всех выделяется истинно преподобная Лукерья („Живые мощи“)¹¹.

¹¹ Митрополит Вениамин (Федченков). Молитва Господня. — М.: Отчий дом, 2010. — С. 166, 172.

Писатель показал русских людей как искателей и носителей истины, Божьей правды. «Мысль народная» во всех ее ипостасях, в национально-русской, всемирно-исторической и метафизической перспективах — всепроникающая в цикле рассказов. Тургенев писал Полине Виардо: «Я продолжу мое изучение русского народа, самого странного и самого удивительного народа на свете».

Таков главный герой рассказа «Касьян с Красивой Мечи» — образ странный и удивительный. В нем ярко выражены христианские черты и в то же время — много сложного, противоречивого. Недосказанность как художественный прием в создании образа особенно усиливает его загадочность, неоднозначность.

Охотник настолько потрясен встречей с Касьяном, что на мгновение теряет дар речи: «...до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд. <...> Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, — он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен» (3, 110).

Карлик с диковинной внешностью выглядит как существо таинственное, полусказочное. Этот «странный старичок» (3, 110) чем-то напоминает гриб, высунувшийся из-под земли. И в самом деле, герой органично связан с землей, с родной почвой, с русской природой. Касьян, словно лесной гном, — хранитель леса и его обитателей.

Гибель вековых деревьев ради корыстных коммерческих интересов, проплешины в лесу после вырубki (на орловском диалекте — «ссéчки») вызывают в Касьяне душевную боль. Не имея возможности помешать хищническому уничтожению леса, герой апеллирует к Божьему суду: «Тут у нас купцы рощу купили, — Бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, Бог им судья» (3, 111). Да и сам автор видит в рубке леса нечто трагическое, уподобляя срубленное дерево человеку, погибающему в последнем земном поклоне: «Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево...» (3, 114).

Касьян живет в полном симбиозе с миром природы, буквально говорит с ней на ее языке. Завидев маленьких птичек, «которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок (молодой перепел. — Примечание Тургенева. — А. Н.-С.) полетел, чиликая, у него из-под ног — он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая, — Касьян подхватил его песенку» (3, 113).

Природа в ответ открывает герою целительные тайны своей «Божьей аптеки»: «...есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки — Божии» (3, 118). Вместе с живительными «чистыми», «Божьими» травками Касьяну ведомы и другие растения — загадочные, «греховные», применяемые только вкупе с молитвой: «Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве...» (3, 118).

Так, в своей практике врачевания Касьян также предстает как христианин, оградивший себя молитвой, заручившийся Божьей помощью. Сопровождая охотника, таинственный знахарь «беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом» (3, 113).

В обывательской среде знахарей часто считали колдунами, подозревали в сношениях с нечистой неведомой силой. Однако настоящий народный целитель не толь-

ко наделен открытым ему знанием сил природы. Чтобы врачевать, лекарь должен быть нравственно чистым, духовно возвышенным. Касьян помогает людям бескорыстно, от души, не помышляя о вознаграждении за свои познания и труды. На вопрос, чем он промышляет, герой отвечает: «Живу, как Господь велит <...> — а чтобы, то есть, промышлять — нет, ничем не промышляю» (3, 117). В этом он следует евангельскому завету, данному Христом Апостолам, — о том, чтобы бескорыстно делиться с людьми тем талантом, который получен человеком от Бога в дар: «*Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте*» (Мф. 10:8).

В народе целителя Касьяна справедливо именуют «лекарка» (3, 112), но он уверен, что и здоровье, и жизнь человека — все в Божьей воле: «Лекаркой меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от Бога. <...> Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует — спасется, — прибавил он, понизив голос» (3, 118). В этих последних словах героя — сокровенная убежденность в действенной силе христианской веры. Согласно заповеди Христа, «*если вы будете иметь веру с горчичное зерно*», «*ничего не будет невозможного для вас*» (Мф. 17:20). В новозаветном эпизоде воскрешения дочери Иаира Христос говорит: «*Не бойся, только веруй, и спасена будет*» (Лк. 8:50).

Касьян с его идеалами добра и милосердия наделен чертами праведника. С другой стороны — сумеречная таинственность судьбы героя вносит диссонанс в его образ, не позволяя ему быть до конца открытым, светлым. Так, у Касьяна есть дочь, но он говорит о ней — «сродственница», скрывая ее происхождение, хотя их кровная связь, внешнее сходство для всех очевидны. Очередная загадка: о матери девушки никто не знает, герой об этом тоже умалчивает.

Кровь, ее пролитие особенно страшат Касьяна. Недоверчиво и неодобрительно относится он к охотникам. Герой смотрит на охоту как на жестокое истребление, бессмысленное убийство «Божьих тварей», напрасное пролитие невинной крови, смертный грех нарушения библейской заповеди «*не убий*»: «Пташек небесных стреляете, небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам Божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?» (3, 110).

Этот грех тем более непростительный, что совершается он для пустого развлечения, а не ради хлеба насущного, испрашиваемого в молитве Господней «*Отче наш*»: «*...хлеб наш насущный даждь нам днесь*» (Мф. 9:11). И Касьян не страшится открыто уличить барина в грехе убийства «братьев наших меньших»:

«Ну, для чего ты пташку убил? — начал он, глядя мне прямо в лицо.

— Как для чего?.. Коростель — это дичь: его есть можно.

— Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил» (3, 116).

С этим наставлением «рифмуется» оценка охотников, данная Лукерьей — героиней рассказа «*Живые мощи*»: «В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пицать да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорытился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!» (3, 331).

Касьян также не боится устыдить барина, внушает ему мысль отказаться от жестокой забавы: «...много ее, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низовой — и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб — Божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов» (3, 116).

В определении хлеба как Божьей благодати кроется священная сущность: «...хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру» (Ин. 6:33). Так хлеб — одно из евангельских самоименований Иисуса Христа: «Аз есмь хлеб жизни» (Ин. 6:35), «ядущий его не умрет» (Ин. 6:50). «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий» (Ин. 6:27), — заповедал Господь.

Касьян в свои бесстрашные поучения барину вкладывает именно этот евангельский смысл. Крестьянин наделен поистине апостольским даром слова. Так, святые Апостолы просили у Бога духовного укрепления, мужества на стезе христианского благовествования: «И ныне, Господи, <...> дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое», «и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзованием» (Деян. 4:29, 31).

Одухотворенно-«дерзновенное» слово Божие на устах мужика не может в очередной раз не вызвать глубокого изумления автора-повествователя: «Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностию, изредка закрывая глаза. <...> Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика» (3, 116). Так удивлялись словам Апостолов «начальники народа и старейшины» в Новом Завете, «видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые <...> между тем узнавали их, что они были с Иисусом» (Деян. 4:13).

Касьян говорит, как древний пророк, как прорицатель: «Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слышал ничего подобного» (3, 116—117). Слова мужика по своей сути и по стилю уподобляются священнической проповеди. В «обдуманно-торжественной» речи Касьяна с большим духовным подъемом выражены представления о святости и грехе: «Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело кровь! Кровь солнышка Божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!» (3, 116).

Герой старается довести до сознания охотника библейское понятие о крови как предмете таинственном и священном. В Ветхом Завете кровь ассоциируется с самой жизнью, с живой душой: «кровь есть душа» (Второзаконие. 12:23); «душа тела в крови», «ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его» (Лев. 17:11, 14). Бог заповедал Ною: «только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт. 9:5). В Новом Завете Апостолы проповедуют язычникам «воздерживаться от идоложертвенного и крови» (Деян. 15:29), отказаться от использования крови в каких бы то ни было целях. Жертвенной кровью распятого на Голгофе Христа побеждена смерть, омыты грехи спасенного человечества.

Чаяния русского крестьянства о спасении Божьей милостью, о том, что «придут времена отрады от лица Господа» (Деян. 3:20), мечты о народном счастье находили воплощение в страннических скитаниях. Странничество, правдоискательство было своеобразной формой оппозиции несправедному устройству социальной жизни, протестом против угнетения и закрепощенности свободной в Боге человеческой души. Не только лучшей доли в социально-бытовом смысле искали простонародные странники, но и — прежде всего — духовно-нравственного идеала, Божьей «правды-истины», как она определилась в русском фольклоре, народнопоэтическом сознании.

Касьян — один из таких странников — получил в народе еще одно прозвище: Блоха. Вероятно, из-за малого своего роста и прыти, способности к динамичным перемещениям. С другой стороны, зоологическое прозвище — отсылка к паразитарному насекомому — снижает образ: «Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не

прикрытая головка <...> так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу» (3, 113).

«Человек я бессемейный, непосед» (3, 119), — говорит о себе герой. Может быть, душу загадочного Касьяна, именующего себя «грешным», тяготит какой-то тайный грех, который требует искупления. Оттого он и мается, не находит душевного равновесия. Это гипотеза, но бесспорно другое: его неусидчивость, «непоседливость», «охота к перемене мест» вызваны томлением народного духа по высшей правде: «И не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут...» (3, 119).

Универсальный в отечественной литературе мотив странничества в поэтике «Записок охотника» становится сквозным, находит свое разностороннее художественное выражение. Даже в рассказе об обездвиженной героине «Живые мощи» явственно звучит мотив паломничества, богомолья. Парализованная Лукерья представляет себя странницей среди других русских паломников-богомольцев: «Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странники» (3, 336).

Вековечное русское странничество: «Сколько странников ходило и скитальцев по Руси <...> Мало что переменялось, хоть сменялись, шли века»¹², — в наши дни нашло подкрепление в поэме Николая Мельникова (1966—2006) «Русский крест» (1996). Здесь показана «дорога поисков силы и смысла жизни», «жажда чистоты душевной»¹³. В образе «странника с крестом» воплотились прошлое и настоящее России, ее грядущие судьбы, восхождение души к Богу:

Я грешил на свете много,
А теперь вот сам молюсь...
Если все попросим Бога
За себя, за нашу Русь,
За грехи людские наши
И за весь позор и стыд —
Неужели ж Он откажет,
Неужели не простит? —
В пояс кланялся, прощался,
Крест на плечи поднимал
И в дорогу отправлялся.
А куда — никто не знал...¹⁴

Тургеневский Касьян в своих странствиях не находит искомого совершенства: «Справедливости в человеке нет, — вот оно что...» (3, 119). Но сам процесс поисков идеала приносит ему душевное облегчение: «Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь, — подхватил он, возвысив голос, — и полегчит, право» (3, 119).

В образе героя духовный подъем, духовное раскрепощение соединяются с патриотическим чувством русского национального единства. Этот странник-правдоискатель — деятель и созерцатель одновременно. Ему открыта одухотворенная красота родной земли, любясь которой Касьян испытывает глубокую любовь и нежность. Он одушевляет Русь, подбирает ласкательные имена ее городам и рекам — всем местам, где ему довелось побывать: «Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромен ходил, и в Синбирск —

¹² Мельников Н. А. Русский крест. — М.: Отчий дом, 2011. — С. 33.

¹³ Там же. — С. 4.

¹⁴ Там же. — С. 36.

славный град, и в самую Москву — золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку» (3, 119). Генетически герой связан с миром прекрасного: недаром он родом с *Красивой Мечи*. Места, где протекает эта река — Красивая Меча (или Мечь) — приток Дона, — считались одними из наиболее живописных в европейской части России.

Касьян не перестает удивляться дивному чуду гармоничного Божьего мира. Для того чтобы видеть и всей душой воспринимать это чудо, нужно быть чудовидцем, духовно отзывчивым «очарованным странником». Именно таков Касьян. Религиозный характер несут его эстетические переживания красоты природы как Божьей благодати: «И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакie степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божия-то благодать! <...> Эко солнышко! — промолвил он вполголоса, — эка благодать, Господи! эка теплынь в лесу!» (3, 119–120).

Любование героев «*Записок охотника*» своей Родиной, Русской землей сливается с голосом автора, рисующего с проникновенной любовью в каждом рассказе цикла художественные картины природы, «прозрачные, будто сотканые из воздуха образы»¹⁵. Точные до мельчайших деталей, узнаваемых примет тургеневские пейзажи представлены в их пространственной глубине, игре света и тени, оттенков красок, в перебивах звуков и ароматов. Эти живые образы словно сливаются с дыханием, с биением сердца русского человека. Картины природы настолько одухотворены, что в них отчетливо ощутимо Божье всеприсутствие, незримое вышнее заступничество. Русский пейзаж, воссозданный не в линейной перспективе и даже не в трехмерном пространстве, а с выходом в некое четвертое — духовное — измерение, становится самостоятельным сквозным «героем» тургеневского цикла рассказов, формирует чувство национального единства, цельный и прекрасный образ Родины, Богохранимой земли Русской.

Вот, например, как выглядят под пером Тургенева родные места на рассвете: «А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подалее другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе» («*Лес и степь*» — 3, 355). Столь же христиански «осердечена» зарисовка летней ночи: «Картина была чудесная <...> Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи», и, «тихо мигая, как бережно несомая свечка», затеплилась на небе «вечерняя звезда» («*Бежин луг*» — 3, 90; 86).

В народнопоэтическом сознании живет неистребимая мечта о сказочном чуде, золотом «тридцатом царстве» — мире благоденствия, свободы и справедливости, где добро неизбежно одерживает верх над злом, правда пересиливает кривду.

Сказочность и странничество как формы духовной жизни народа соотносятся в жизни русского скитальца: «И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел...» (3, 119).

С этими народно-странническими мечтами Касьяна с Красивой Мечи перекликаются детские грезы засыпающих в ночном маленьких героев «*Бежина луга*». Они убаю-

¹⁵ Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. — Т. XVIII. — М.: Гослитиздат, 1939. — С. 144.

каны сладкими надеждами на дивное чудо в сказочной земле за «теплыми морями», куда отправляются птицы небесные:

- «— Это кулички летят, посвистывают.
- Куда ж они летят?
- А туда, где, говорят, зимы не бывает.
- А разве есть такая земля?
- Есть.
- Далеко?
- Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза» (3, 104).

В поэтизации странничества переплетаются мотивы фольклорные и христианские. Простонародные русские скитальцы в чаянии «довольства и справедливости» ищут те заветные места, где Христос «низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем» (Лк. 1:52–53). Священная, светлая птица Гамаюн в мифологическом ракурсе олицетворяет чудодейственное заступничество. Эта птица — Божья вестница, подательница надежды на чудо Божьего Промысла. Окрашенное в золотой цвет «иное царство, небывалое государство» соотносится с солнечным светом, с небесной сферой. В христианском контексте сказочное «золотое царство» соотносимо с евангельским откровением об уготованном для праведных светоносном «золотом граде» Небесном Иерусалиме, в котором «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет»; «ночи там не будет»; «спасенные народы будут ходить во свете Его» (Отк. 21:4, 24, 25).

«Юродивец» — третье прозвище Касьяна. Его поведение представляется окружающим странным, нелепым. И сам он выглядит человеком чудаковатым, почти безумным: «Неразумын я больно, с мальства» (3, 117). Касьян, не занятый, как все, крестьянским трудом, признается: «Ничем я этак не занят... Работник я плохой» (3, 117). Охотник мысленно соглашается с прозвищем героя, дивясь его необычной манере держаться, вести таинственные, малопонятные речи: «...последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что-то сказал, чего я даже слышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название „юродивца“» (3, 119).

На взгляд со стороны, «юродивец» подобен безумцу, хотя таким и не является. Касьян просветлен более многих крестьян, обладает широким кругозором, он грамотный человек: «Разумею грамоте. Помог Господь да добрые люди» (3, 117). В первоначальном издании рассказа герой говорил также о своем участии в церковных Богослужениях: «Случается, так в церкви Божией на крылос меня берут по праздникам. Я службу знаю и грамоте тоже разумею» (3, 468).

Касьян скорее принимает вид безумца, как многие юродивые. Его «неразумность» — особого рода. Он не способен «промышлять», наблюдать эгоистический, корыстолюбивый интерес. Христианская вера очищает ум и душу от маниакального стремления к наживе, корысти: «...не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак. 2:5).

В душе герой ведет напряженную внутреннюю работу, непрерывно размышляя об истинном предназначении человека в соответствии с Божьим замыслом: «Да это все под Богом, все мы под Богом ходим; а справедлив должен быть человек — вот что! Богу угоден, то есть» (3, 118). Недаром в нашем языке синонимы к слову «юродивый» — «блаженный», «Божий человек», «Христов человек». Духовное делание развивает в герое дар прозорливости, прорицания.

Таким же даром наделена Лукерья — героиня рассказа «Живые мощи».

Этот тургеневский шедевр с его глубинным религиозно-философским содержанием, весь проникнутый православным духом, вызывал заслуженное восхищение современников писателя и по сей день является предметом особого внимания читателей, литературоведов, философов, богословов, писателей.

Так, например, французский писатель и философ Ипполит Тэн признавался в письме Тургеневу: «Я прочел „Лукерью“ три раза кряду» (3, 514). Именно рассказ «*Живые мощи*» позволил И. Тэну осознать всемирное значение и духовное величие русской литературы по сравнению с литературами других стран: «Какой урок для нас, и какая свежесть, какая глубина, какая чистота! Как это делает явным для нас, что наши источники иссякли! Мраморные каменоломни, где нет ничего, кроме лужиц стоячей воды, а рядом неиссякаемый полноводный родник» (3, 514).

Посвящая Тургеневу свой рассказ, навеянный «*Касьяном с Красивой Мечи*», Жорж Санд так отозвалась об авторе «*Записок охотника*»: «Вы — реалист, умеющий все видеть, поэт, чтобы все украсить, и великое сердце, чтобы всех пожалеть и все понять». После прочтения рассказа «*Живые мощи*» знаменитая французская романистка на склоне лет признала превосходство русского писателя: «Учитель, — все мы должны пройти Вашу школу» (3, 426).

Даже более, чем Касьян, Лукерья вызывает у повествователя чувство безграничного изумления. Увидев ее, охотник буквально «остолбенел от удивления» (3, 327). Благоговение испытывает Тургенев перед мощью христианского духа, который обитает в немощном теле героини — в полном соответствии с антиномиями Нового Завета: «*Господь сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи“*. <...> *Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен*» (2 Кор. 12:9—10).

С героиней рассказа — жизнерадостной крестьянской девушкой, красавицей Лукерьей, помолвленной невестой — незадолго до свадьбы приключилась неведомая болезнь, неподвластная лечению докторов. От начала болезни до кончины — без малого семь лет (семь — священное число духовного порядка) — обездвиженная Лукерья пролежала одна в плетеном сарайчике на пчелиной пасеке. Медоносная пчела, когда завершает свое благодатное земное предназначение, сохнет, чернеет, умирает. Так и Лукерья настолько внешне иссохла, что превратилась в почерневшую мумию, «*живые мощи*».

Охотник, знавший девушку раньше, ошеломлен жутким зрелищем, контрастирующим с его прежними впечатлениями: «Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которую ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!» (3, 328).

Искрящаяся радостью и весельем физическая жизнь отлетела, сковалась неподвижностью, тишиной. Сарайчик Лукерьи напоминает усыпальницу, гробницу: «...темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмошки, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура...» (3, 327).

Сакральный подтекст рассказа позволяет предположить, что Лукерья накануне замужества, то есть в один из переломных моментов жизни, когда человек становится наиболее уязвимым, подверглась бесовской атаке «врага рода человеческого». В это время девушка думала только о себе, о своей любви, о встречах со «статным, кудрявым» женихом: «Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил» (3, 328—329). Безоглядное чувство, всепоглощающая сосредоточенность на личном счастье обезоруживают человека перед происками нечистой силы, выскивающей беззащитную жертву; могут привести к физической и духовной гибели.

Так, перед рассветом (согласно традиционным представлениям — время разгула нечисти, ее особой активности) Лукерье-невесте, замороженной ночными соловьи-

ными трелями, почудился зов жениха: «...зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: „Луша!..“ Я глядь в сторону, да, зная, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — порвалось <...> — С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — и полно ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже» (3, 329).

М. М. Дунаев считал, что в этой истории болезни кроется не только «несчастливая случайность», но и «слабый намек, хоть и не вполне проявленный, на бесовское вмешательство»¹⁶. Из приведенного рассказа Лукерьи не «слабо», а вполне явственно проступает метафизический характер недуга, сразившего девушку. Лукавый голос, злокозненно маскируясь под призыв жениха, влечет ее в гибельную бездну («так прямо <...> и полетела вниз»).

Отголосок этой сцены — в рассказе «Бежин луг», когда Павлуша услышал ночью над рекой предвестие его скорой гибели — зовущий голосок утопленника Васи: «Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: „Павлуша, а Павлуша!“ Я слушаю; а тот опять зовет: „Павлуша, подь сюда“» (3, 104). Характерна реакция героев «Бежина луга», стремящихся при помощи крестного знамения отразить вредоносные нападения нечистой силы: «Ах Ты, Господи! ах Ты, Господи! — проговорили мальчики, крестясь» (3, 104).

В то же время в народном сознании живет убеждение, что истинная христианская душа выстоит, одержит верх, несмотря на временную победу бесовщины. Эту мысль выразил один из мальчиков в рассказе «Бежин луг»: «Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья, — да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спортить» (3, 95).

Вера в Христа-Спасителя, религиозное мирозерцание Лукерьи, христианское смирение становятся для нее источником огромной духовной силы, несказанной душевной красоты. Портрет героини — также совершенно бестелесный — вызывает у автора представление о древних иконописных ликах, потемневших от времени: «Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма» (3, 327).

По определению В. И. Даля, «мощи — нетленное тело угодника Божия». Тургеневская героиня, прозванная в народе «живые мощи», еще при жизни становится «истинно преподобной» угодницей Божией.

Охотника также крайне изумило, что мученица не сетовала на судьбу, «рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие» (3, 329). Односельчанам она также не докучает: «...от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слышать, ни жалоб. Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна; тихоня, как есть тихоня» (3, 338), — рассуждает хуторской десятский.

В христианской модели мира человек пребывает не во власти языческого «слепого случая» или античного «фатума», но во власти Божественного Провидения. Героиня принимает Божью волю со смирением, с благодарением и молитвой: «— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чем я Его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно» (3, 332). Страдалица крестьянка, едва ли это сознавая, в точности следует заповеди Господа о немногословной

¹⁶ Дунаев М. М. Православие и русская литература. — М., 1997. — Ч. III. — С. 37.

молитве: «...молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:7–8).

Случившееся с ней Лукерья понимает как данный Богом спасительный крест: «Послал Он мне крест — значит, меня Он любит. Так нам велено это понимать» (3, 332) — по слову Христа: «...кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня».

Она почти не может спать и тем исполняет заповедь: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41). «Бодрствующая» героиня приучила себя не размышлять, а молитвенно созерцать «мир Божий, который превыше всякого ума» (Фил. 4:7): «Прочту Отче наш, Богородицу, акафист Всем скорбящим — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего!» (3, 332).

В народе поговаривают, что испытание тяжелой болезнью послано Лукерье в искупление за какой-то тайный грех: «Богом убитая <...> — стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пушай ее!» (3, 338).

Готовя рассказ к печати, Тургенев в письме к Полонскому вспоминал о страшном времени голода 1841 года, когда «чуть не вымерли поголовно» Тульская и смежные с ней губернии (Орловская — в том числе). Писатель воспроизводит народный отзыв, показывающий отношение простого человека к бедствию как ниспосланному свыше испытанию — во оставление грехов: «Ты и так Богом наказан, а тут ты еще грешить станешь?» (3, 511).

Так в чуткое православное сознание русского народа вживляется евангельское изречение Апостола Петра: «...страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1 Пет. 4:1, 2). В этом суть православного аскетического взгляда на жизнь: винить в несчастьях не других, а самого себя; в бедствии видеть справедливое воздаяние, ведущее через глубокое покаяние к духовно-нравственному обновлению, возрождению и спасению.

Лукерья также считает, что болезнь послана во благо ее душе, и в этом смысле она счастливее физически здоровых людей: «Хоть бы то взяты: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать да и говорит: „...Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоём состоянии согрешить можешь?“ Но я ему ответила: „А мысленный грех, батюшка?“ — „Ну, — говорит, а сам смеется, — это грех не великий“. — Да я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна» (3, 330–331).

Более того — она своим безропотным перенесением многолетних страданий «отмаливает» чужие грехи, грехи родителей: «...было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душечку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны» (3, 335–336).

В общерусском православном смысле воспринял образ Лукерьи Б. К. Зайцев, назвав ее заступницей «за Россию грешную, за всех нас, грешных»¹⁷.

Плоть героини умерщвлена, но дух ее возрастает. «Посему мы не унываем, — учит Апостол Павел, — но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). «Тело Лукерьи почернело, а душа — просветлела и при-

¹⁷ Зайцев Б. К. Собр. соч.: В XI т. — М.: Русская книга, 1999–2001. — Т. IX. — С. 436.

обрела особенную чуткость в восприятии мира и правды высшего, сверхмирного бытия»¹⁸, — справедливо отметил выдающийся богослов XX века архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской).

Героине, почти бестелесной, открываются высшие сферы духа, невыразимые в земном слове. В своем уединении она вступает в область сверхрационального познания, религиозного откровения: «Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна, и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление — даже удивительно. <...> Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья» (3, 333).

В снах-видениях открывается прямая связь чуткой христианской души с запретным миром на пороге инобытия. Вместо венка из васильков (в символическом контексте рассказа полевые васильки — намек на любовь к земному жениху Василию Полякову) девушка увенчана небесным сиянием — как нимбом святого: «Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила» (3, 335). Свет в Евангелии не метафора и не образ, но выражение самой сущности Христа: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12:36). В земной жизни жених оставил свою невесту-калеку. Но в духовных сферах праведницу одобряет и принимает Сам Господь: «Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а Сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким Его не пишут, — а только Он!» (3, 335).

Лукерья становится «Христовой невестой» (устойчивое выражение, обозначающее умершую девушку или девушку, которая предпочла браку монашество): «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за Мною; ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские. <...> Тут мы взвились! Он впереди... Крылья у Него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за Ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в Царстве Небесном ей уже места не будет» (3, 335).

На крыльях христианской веры героиня духовно воспарила, «достигла того состояния целостности и высшей простоты духа, когда человек мыслит уже не рациональным рассудком, а интуицией, духом, сердцем своего бытия. Это есть состояние сердечной чистоты, что есть начало уже Царствия Божия в человеке», — комментирует архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)¹⁹.

В своем отношении к жизни и к миру Лукерья проявляет себя столь одухотворенно-сострадательно, что вновь подкрепляет ассоциацию с бесплотными женскими ликами русских икон, особенно с чудотворным образом Пресвятой Богородицы «Умиление». Выступая как заступница обездоленных, она совсем забывает о своем личном страдании: «Ничего мне не нужно; всем довольна, слава Богу, — с величайшим усилием, но *умиленно* (курсив мой. — А. Н.-С.) произнесла она. — Дай Бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные — хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас Богу помолились... А мне ничего не нужно — всем довольна» (3, 337). Здесь состояние умиления в его духовном смысле обозначает соприкосновение души с Божьей благодатью.

Истинная праведница боится прогневить Бога: не ропщет на свою участь, не мучается гневом, завистью, не проклинает, а благословляет мир Божий. Обездоленная

¹⁸ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Беседы с русским народом. — М.: Ладья, 1998.

¹⁹ Там же.

и обездвиженная, но сильная духом, она не позволяет злу проникнуть в свой внутренний мир. Наоборот, ее душа вся светится добром, участливым отношением к людям. В ее положении, хуже которого отыскать вряд ли что возможно, она беспокоится о тех, кому еще труднее: «А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает. <...> У иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землю роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить? — многим хуже моего бывает» (3, 330).

Земная жизнь Лукерьи завершается под слышимый только ею «сверху» колокольный звон, призывающий ее в вечность, в Царство Небесное, в соответствии с евангельским обетованием: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:13).

«Откровение души», «торжество бессмертного в тленном» — так определил суть тургеневского рассказа архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). По его справедливому суждению, Тургенев «не только выразил жизнь в ее последней тайне, он открыл человеческую бессмертную душу, не зависящую в своей глубине ни от чего внешнего, ни от каких материальных или экономических условий»²⁰.

Преданность Божьей воле как замечательную особенность русского народа Тургенев проникновенно рисует и в рассказе «Смерть». То, как умеет умирать православный человек, также является предметом уважительного удивления писателя и в очередной раз подтверждает его мысль о русском народе «как самом удивительном народе на свете»: «Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает» (3, 200). Так, придавленный деревом во время рубки леса подрядчик Максим в свои последние минуты думает о Боге, о покаянии: «...за попом... послать... прикажите... Господь... меня наказал... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я... вот... ребят-то не распустил» (3, 199).

Для православных день земной кончины — день рождения в жизнь вечную.

Антикрепостническое содержание тургеневского цикла глубоко и всесторонне изучено. В то же время необходимо заострить внимание на этой теме, рассматривая ее не только как историко-литературный факт, но как проблему, не теряющую своей актуальности и в наши дни.

Жестокосердные поработители народа — изощренный изувер помещик Пеночкин и его подручный бурмистр Софрон («Бурмистр»), Хвалынский и Стегунов («Два помещика»), господин Зверков с его говорящей фамилией и такой же зоологической внешностью («Ермолай и мельничиха»); многие другие помещики, в том числе матушка охотника, в которой различимы черты Варвары Петровны — матери Тургенева («Живые мощи»). Все они стремятся свести подневольных людей к рабскому животному состоянию. Угнетатели не только распоряжаются судьбами крепостных, физически губят их непосильным рабским трудом, голодом, нуждой, телесными наказаниями, но методически убивают живую душу. Иных доводят до самоубийства, иных — до сумасшествия.

Вот один из крохотных эпизодов, повсюду рассыпанных в цикле рассказов, за которым стоит подлинная драма исковерканной человеческой судьбы: вскользь упоминается «подверженный сумасшествию резчик Павел», который «к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей» («Смерть» — 3, 201–202).

²⁰ Там же.

Столь же искалечены судьбы многих крепостных, лишенных по вине господ права на любовь, личное счастье: это горничная Арина и лакей Петрушка («Ермолай и мельничиха»), Татьяна и Павел («Контора»), Матрена («Петр Петрович Каратаев») и другие.

В предисловии к переводам тургеневских рассказов в журнале Чарльза Диккенса (1812–1870) — английского писателя-христианина, наиболее родственного по духу русской классической литературе, — высказывалось негодование по поводу зверств «сильных мира сего», творящихся в стране, считающей себя «цивилизованной и христианской» (3, 430).

Не случайно официальные власти затеяли секретное следствие о «Записках охотника», усматривая в них политическую оппозиционность и опасность для правящего режима. Сотрудник Главного управления цензуры доносил министру просвещения: «...мне кажется, что книга г. Тургенева сделает более зла, чем добра <...> Полезно ли, например, показывать нашему грамотному народу <...>, что однодворцы и крестьяне наши, которых автор до того опозитизировал, что видит в них администраторов, рационалистов, романтиков, идеалистов, людей восторженных и мечтательных (Бог знает, где он нашел таких!), что крестьяне эти находятся в угнетении, что помещики, над которыми так издевается автор, выставляя их пошлыми дикарями и сумасбродами, ведут себя неприлично и противузаконно, что сельское духовенство раболепствует перед помещиками, что исправники и другие власти берут взятки или, наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше» (3, 409).

Как известно, далее последовали надзор тайной полиции, арест и ссылка «политически неблагонадежного» Тургенева.

Для подавляемой властью личности пространством свободы служит православная вера. Писатель показал, что крепостное право — рабство внешнее — не убило в русском народе внутренней свободы души и духа. Художественная логика тургеневского цикла рассказов неуклонно ведет к выводу о том, что люди не должны быть рабами людей — по слову Апостола Павла: «не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7:23). Люди не рабы, а дети Божьи: «Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа» (Гал. 4:7). Тургенев утвердил богоподобное достоинство человеческой личности, ее духовную независимость. Человек рожден свыше, его Господь-Отец сотворил. И этот дар творения подкреплен даром истинной свободы — в Боге и от Бога: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1).

Те же, кто отнимает у человека этот дар Божий, суть богопротивники, бесы — носители зла. Вот почему Апостол Павел призывает: «...братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:10–12).

По апостольскому слову, Христос, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15). В Новом Завете выражена вера в то, что во втором пришествии Христа «Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть, и силу» (1 Кор. 15:24).

Своеобразие изображения жизни в рассказах Тургенева предстает в динамике взаимодействующих планов бытия: национально-русского и вселенского; конкретно-исторического и философско-универсального; социально-политического и религиозно-нравственного; земного и надмирного; сиюминутного и вневременного, вечного — всего того, что составляет живую русскую душу «Записок охотника».